



Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ

Неизвестный Гоголь

1

Может показаться очень странным говорить, как о «неизвестном», о писателе, о котором столько написано и который оказал такое огромное влияние на все последующее развитие русской литературы. Но просмотр всего, написанного о Гоголе, и пересмотр вопроса о его влиянии, скорее всего, могут убедить нас в том, что Гоголь, действительно, «неизвестный», загадочный писатель.

Работы о Гоголе характеризуют его то как романтика, то как реалиста, то как реакционера, то как одного из представителей русского социального и политического радикализма (конечно, по большей части как «бессознательного» радикала). Одни называют его «мудрецом», предвосхитившим глубочайшие идеи Достоевского, другие — только что не совсем глупцом, во всяком случае, недалеким человеком. Одни считают вершиною его творчества его украинские рассказы, другие — поздние «реалистические» произведения. Одни восхваляют его способность рисовать «пошлость» в живых человеческих образах, для других его герои — «мертвые куклы». Самое странное, что иногда один и тот же автор то восторгается Гоголем, то отвергает его: так случилось с украинским писателем и поэтом П. Кулишом, первым издателем писем и биографом Гоголя; Кулиш один раз объявил украинские рассказы Гоголя поразительно верными действительности по своей тональности, другой раз — привел огромный список этнографических и бытовых погрешностей в изображении народной жизни в тех же самых украинских рассказах, и даже склонен был считать это изображение «клеветой» на украинский народ.

Так спорят критики и историки литературы. Их неспособность прийти к соглашению в характеристике наиболее крупных писателей общеизвестна. Но о Гоголе спорят также и писатели и поэты — его подражатели и последователи. Нет такого направления в русской литературе, которое устами кого-либо из своих представителей не объявляло бы Гоголя «своим». Его считали своим родоначальником и реалисты разных оттенков, и импрессионисты, и символисты, и футуристы, а в настоящее время он объявлен «отцом» «социалистического реализма»... «Гоголевский стиль» в стихах Маяковского¹ проник даже в поэзию, и это не в первый раз, так как элементы подражания Гоголю нетрудно найти и в стихотворстве и стихоплетстве 60-х годов: у Некрасова и поэтов «Свистка»². Если бы существовал русский «сюрреализм» как оформленное течение, он, наверное, объявил бы Гоголя своим литературным предком, хотя бы за такие смелые «реализации метафор», как: «В окне появился сбитенщик с самоваром красной меди и с лицом, таким же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар (!) не был с черною, как смоль, бородою», — или: «Тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался в своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Таких примеров немало!

«Если на клетке с буйволом увидишь надпись “слон”, не верь глазам своим», — изрек Козьма Прутков. Над сочинениями Гоголя вывешено столько противоречащих друг другу надписей, что если бы принимать их всерьез, надо было бы считать Гоголя Протеем или волшебником, способным бесконечно менять свой облик.

Во всяком случае, его облик в глазах современников и потомков не только «двоится», а множится, излучая из себя ряды совершенно различных и совсем не похожих друг на друга образов. Уже поэтому каждая новая работа о Гоголе начинается с новой постановки почти всех вопросов, касающихся его идеологии и стиля. Ну, как же не назвать его «неизвестным писателем»? Даже в советском литературоведении, где есть простейший способ решения всех «так называемых вопросов» — приведение более или менее удачно выбранной цитаты из Ленина, Сталина, Маркса и Белинского, — даже в советском литературоведении время от времени появляются работы, оставляющие ряд вопро-

сов о Гоголе открытыми. Один из наиболее «ортодоксальных» советских историков литературы В. Десницкий перед Второй мировой войною напечатал (в изданном В. Гиппиусом сборнике статей и материалов о Гоголе) объемистую статью³, сплошь состоящую из перечисления «нерешенных вопросов» о Гоголе. С того времени прошло более десяти лет, но ни на один из этих вопросов не было дано никакого окончательного ответа.

2

Еще в лицее Гоголь получил прозвище «таинственный карла»: он был очень маленького роста, как многие великие люди — Цезарь, Декарт, Моцарт, Наполеон. «Таинственным» он оставался и в продолжение всей своей жизни... Теперь он представляется нам «таинственным гигантом».

Гоголь появился на горизонте русской литературы, как блестящий метеор, чтобы сравнительно очень быстро погрузиться в неизвестность. Его собственно литературный путь очень краток: двенадцать лет. В 1831 году — ему было всего 22 года — появились два тома «Вечеров на хуторе близ Диканьки», сразу поставившие его на одно из первых мест в ряду тогдашних русских прозаиков и открывшие ему путь на верхи литературного Олимпа. Если даже сомневаться, как это теперь принято, в близости его личных отношений с Пушкиным, то уже простое знакомство с Пушкиным, Жуковским, с которым его позже связывала интимная дружба, кн. В. Одоевским, И. И. Дмитриевым, с московским кругом Погодина, с кружком Плетнева, с Максимовичем было небывалым успехом личной жизни⁴. Не забудем, что все они очень отличали его от иных новых звезд, загоравшихся тогда на литературном небе. И «житейская карьера» Гоголя казалась успешной: преподавание, и притом, как кажется, очень удачное, в Благородном институте, затем профессура в Петербургском университете, которая вовсе не была так неудачна, как это до сих пор обычно утверждают историки литературы; это еще в 1911 году убедительно доказал Венгеров. В 1834 году появляются 4 дальнейших тома литературных произведений Гоголя: сначала 2 тома «Арабесок», и почти одновременно — несколько позже «Арабесок» — 2 тома «Миргорода». В 1836 году Пушкин хочет сделать Гоголя одним из ближайших участников своего «Современника». В том же году ставится на Императорской сцене «Ревизор». Несмотря на несомненный успех, Гоголь считает эту постановку катастрофической неудачей: как известно, он ожидал от «Ре-

визора» совершенно необыкновенного действия — морального возрождения России. Он бежит за границу, собственно говоря, навсегда. В Риме он проводит 12 лет, приезжая в Россию только два раза на короткое время, оба раза занятое хлопотами по изданию своих произведений. Из «прекрасного далека» появляются — почти всегда совершенно неожиданно для читателей — его литературные сюрпризы: новая обработка «Портрета», новая обработка «Тараса Бульбы» (повесть так переработана, что кажется почти новым произведением), в 1842 году — «Шинель», «Рим» и первый том «Мертвых душ»... Гоголь становится главою нового литературного течения — «натуральной школы», с представителями которой он почти не имеет личных связей, но к которой в течение десяти лет примыкают самые крупные и популярные представители русской прозы того времени: молодые братья Достоевские, Григорович, Тургенев, И. Панаев, Некрасов, Гребенка, Кулиш. А сам «глава школы» замолкает — навсегда.

В 1847 году он, правда, «разражается» «Выбранными местами из переписки с друзьями». Это специально для книги написанные «письма» — последнее произведение, изданное Гоголем самим, при этом произведение уже не чисто литературное, а публицистическое. Оно легло тяжелым бременем на литературную репутацию Гоголя и очень отягчило его литературную совесть. В 1848 году он, наконец, через Иерусалим возвращается в Россию, где проводит четыре последних года жизни, отчасти в провинции, в Одессе, в довольно живом общении, как кажется, с широким кругом знакомых, а главное — в Москве, где он живет в глубоком уединении. В начале 1852 года он вторично сжигает уже почти готовый к печати второй том «Мертвых душ», в первый раз сожженный Гоголем уже в 1844 году. Суровый пост и болезнь, которую тогдашняя медицина определила как «нервную горячку», обрывают его жизнь: 21 февраля 1852 года Гоголь умер в возрасте всего 42 лет. После его смерти — не тотчас же, а лет через 10 — начинаются попытки воссоздать его образ: литературный и личный. Несмотря на большое количество сохранившихся от Гоголя писем (около 1300, три четверти их — из-за границы), задача оказалась непосильной: на жизненном пути Гоголя нам известны только отдельные точки, между которыми нельзя с полной уверенностью провести связующих линий. Тем не менее вскоре возникает картина жизни Гоголя, до сих пор повторяемая во многих работах, особенно иностранных; иностранные авторы обычно списывают с русских работ, почему-то выбирая самые неудачные из них. Основными поворотными пунктами в жизни Гоголя, согласно

этой картине, считаются сначала его переход от романтики к «реализму», датируемый чрезвычайно различно — его начинают то с «Ревизора», то с «Арабесок», а то и с отдельных рассказов «Вечеров», — а затем будто бы пережитый им за границей «религиозный кризис», являющийся и причиной прекращения им литературной деятельности и даже его смерти. Наиболее «просвещенные» авторы, для которых слово «религия» равнозначуще со словом «бессмыслица» или даже «безумие», заменяют выражение «религиозный кризис» «религиозным помешательством».

Ошибочность этой картины развития Гоголя давно опознана не только символистами (Мережковский, Брюсов, Белый, Ин. Анненский), но и учеными из «просвещенного» лагеря (Венгеров, Н. Котляревский, Трубицын⁵ и др.). Однако на ее место никто не предложил другой схемы, которая хотя бы в отдаленной степени могла претендовать на общезначимость и общепризнанность. Две работы, дающие несколько различные, но целостные и во многом убедительные очерки идеологического и литературного развития Гоголя, по странной иронии судьбы, оказались сейчас же по выходе скрыты от внимания читателей и даже исследователей. Замечательная статья В. В. Зеньковского — по объему целая книга — вышла в киевском журнале «Христианская мысль» в 1916–<19>17 годах и совершенно исчезла из литературного оборота. Не менее замечательная небольшая книга В. Гиппиуса (авторевферат большой книги, никогда не увидевшей света) вышла в 1924 году и не получила распространения, по непонятным причинам не дошла до сознания историков литературы и принадлежит и сейчас к редкостям; она почти не цитируется в гоголевской литературе, хотя Гиппиус жил и работал еще многие годы и приступил к изданию нового обработанного собрания сочинений Гоголя, которое так и осталось незаконченным, так как Гиппиус умер во время осады Ленинграда. Небольшая книга Мочульского — в отличие от его книг о Достоевском и Блоке — только набросок, в котором интересны лишь немногие места. Я, конечно, не собираюсь дать в журнальной статье целостный и законченный образ Гоголя. Я хочу только поставить несколько проблем, касающихся идеологии и стиля Гоголя, проблем, которые обычно или ставятся совершенно неверно, или остаются без внимания.

3

Если не все, то очень многие писатели и поэты «стилизируют» себя в своих литературных произведениях и даже в жизни.

В эпоху романтики такая «самостилизация» была особенно распространена. Известны «демонические» байронисты, делавшие, несмотря на «демонизм», прекрасную чиновничью карьеру; известен «веселый студент» Языков⁶, в действительности очень серьезно занимавшийся романтической поэзией и наукой; известен «ленивый» Дельвиг, оказавшийся прекрасным, старательным редактором журнала... Элемент «самостилизации» очень силен у Гоголя, мастера мистификации и «скрытой жизни». За «самостилизацией» Гоголя стояли отчасти очень серьезные идеологические мотивы.

Жизнь Гоголя полна загадок. Еще до появления «Вечеров» он совершил непонятную поездку в Германию, где провел только несколько недель, будто бы собираясь также в Америку. До сих пор не выяснено, был ли он позже в Испании и Португалии, о которых он рассказывал очаровательные анекдоты. На недели и месяцы он исчезает с горизонта и своих русских друзей и современных нам исследователей. Это для него тем легче, что ему ничего не стоит ставить на своих, писанных в Москве письмах, то «Триест», то «Вена».

И о его прилежной и скрупулезной работе над рукописями мы также знаем, по существу, очень мало. В этом виноваты и те неоднократные «авто да фе», при которых погибали и наброски и готовые или почти готовые произведения (кроме второго тома «Мертвых душ», драма из украинской истории), и та небрежность, с которой обращались с рукописями и сам автор и его наследники. Долго считали мистификацией различные сообщения Гоголя о своих исторических, этнографических и иных работах. И только в последние десятилетия выплывают из забвения такие огромные по объему рукописи, как собрание украинских и великорусских песен, содержащее около 1000 номеров, обнимающие сотни страниц выписки из исторической литературы, главным образом французской, написанный для Смирновой путеводитель по Риму или объемистые заметки о сибирской флоре: Гоголь был ботаник-любитель. Гоголь следовал предписанию стоиков «живи скрываясь» не из каких-либо моральных соображений. Он, действительно, живо ощущал свою жизнь как «скрытую». Но то, что в его реальной жизни соответствовало этому ощущению, он «в порядке самостилизации» еще преувеличивал, обострял, раздувал. Его «самостилизация» совершенно слилась с реальностью его жизни. Им были подысканы основания и аргументы в пользу стиля своей жизни. Но эти основания и аргументы постепенно вошли в самую глубину его личности. «Самостилизация» Гоголя стала

таким образом его «второй природою». Основую этой самостилизации было ощущение себя как «чуждого всем», как «странника» (его собственные выражения). Уже в школе он был «таинственным», и характеристики, которые дают ему в воспоминаниях его школьные товарищи и учителя, необычайно несходны, как будто бы речь идет о разных людях: между этими характеристиками нет почти ничего общего, кроме имени Гоголя. Так же переливаются всеми цветами радуги и воспоминания его современников даже об одних и тех же эпизодах и моментах его жизни: одни помнят Гоголя, профессора на петербургской университетской кафедре, как плохого и беспомощного преподавателя, другие хвалят его лекции; одни знали его в Риме или Одессе мрачным и нелюдимым, другие — веселым и оживленным собеседником...

Но это касается личности Гоголя. Важнее то, что он остался «чужим человеком» и в русской литературе, несмотря на все свои связи и влияния. Он не научился даже хорошо русскому языку: указанных ему ошибок он намеренно не исправлял; впрочем, в украинских рассказах на постоянном перебое русских и украинских языковых элементов основано большинство его стилистических приемов; поэтому нелепы были бы попытки «исправлять» Гоголя, даже только орфографически, и поэтому же так ослабляется впечатление от этих рассказов в украинских переводах, уничтожающих языковую «двупланность». Но и в позднейших произведениях Гоголя, не связанных с украинской тематикой, у него масса украинизмов и оборотов, вообще не свойственных никакому языку: он постоянно пишет «ребенки» («ребенки кричат»), «котенки», «схватился со стула» (украинское «схопився зі стула»), употребляет несуществующее в русском языке ругательство «печник гадкий» (вероятно, украинское «тчкур», т. е. лежебока) и т. д. Украинский провинциал, он намеренно не входил в жизнь столиц, как его земляки и современники: Сомов, Гребенка, Кукольник⁷. Пройдя, как «чуждый всем», по поверхности столичной жизни, он исчезает за границей и подает оттуда голос произведениями, которых от него никто не ожидает: когда слухи оповещают о том, что он пишет «Дневник русского генерала за границей», появляется первый том «Мертвых душ»; когда читатели с нетерпением ожидают появления второго тома, появляется «самая странная книга русской литературы» — «Выбранные места»... И в своих произведениях он скрывается за вымышленными рассказчиками, правда, подражая Вальтеру Скотту и вообще романтической традиции: так в «Вечерах», «Миргороде», да и в «Шинели».

«Закатившись» на Западе, он сейчас же пишет, что его петербургские годы представляются ему сном: «Снега, департамент, подлецы. Все это мне только снилось». Когда, оставляя университет, он заявляет: «Неузнанный взошел я на кафедру и неузнанный схожу с нее», — то это можно, пожалуй, считать попыткой оправдания своей педагогической неудачи. Но и после своего наибольшего литературного успеха, после появления первого тома «Мертвых душ», он пишет из Рима: «Все мне чужие и я всем чужой», — не в Риме, а в России, и среди его читателей и почитателей. С этого времени в его частных письмах все чаще и чаще повторяется тема «пилигримства», «странничества»: «Мы все только странники и гости в этом мире», — и уверения, что его главная жизненная задача теперь состоит в том, чтобы «облегчить свой путевой чемодан», не только буквально, но и в переносном смысле.

Нельзя считать эти слова только выражением настроения, вызванного «религиозным кризисом», хотя слова о «странничестве» и вариация на тему Св. Писания — I послания Петра. Гоголь, действительно, с момента своего «бегства» из России живет как странник; он ездит вкось и вкривь по всей Европе, иногда мотивируя свои поездки лечением на курорте, что вряд ли можно принимать всерьез. Как он пишет своим друзьям, он только во время поездок «чувствует себя здоровым»: действительно, случайно, проездом, задержавшись в 1840 году на несколько недель в Вене, он испытывает почти патологический прилив творческой энергии — работает над «Мертвыми душами», пишет сожженную потом драму, перерабатывает «Тараса Бульбу» и т. д. Гоголь называет себя не только странником, но и «монахом»: он говорит о своем «внутреннем монастыре», он живет, «как в монастыре»; места, в которых располагается его, так сказать, походный, передвижной монастырь, иногда несколько странны: например, Париж, в который обыкновенно ездили в поисках легких и не слишком моральных удовольствий. Странная неровность Гоголя: иногда он веселый и даже легкомысленный рассказчик, мистификатор, шутник, но по большей части молчалив, замкнут, невнимателен к происходящему, невежлив; эта неровность связана, конечно, с этим «самовосприятием» себя как «монаха» в миру... Можно ли требовать от человека, который носит с собою свой монастырь, чтобы он уделял значительное внимание «миру и иже в нем»?

Не только в письмах Гоголя, но и в его произведениях можно найти немало страниц, посвященных теории «скрытой жиз-

ни». В письмах он поучителен, назидателен, навязчив. Но и среди украинских рассказов выделяются наличием дидактических элементов «Старосветские помещики», совершенно неправильно истолкованные Белинским как сатира. В действительности, это идеологическая идиллия; Гоголь подчеркивает у своих «старосветских помещиков» личные положительные качества — мягкость, дружелюбие, гостеприимство — и особенно любовь, верную и в смерти. Этой тихой и незаметной любви противопоставлена в рассказе любовь романтическая и страстная — и непрочная.

То противопоставление, которое в рассказе дано в плоскости личного переживания, очень часто, если не в продолжение всей жизни Гоголя, занимает его интерес и в плоскости философии истории и культуры. Уже незадолго до «бегства» за границу он набросал замечательное и знаменитое сравнение Петербурга и Москвы⁸. Сквозь легкую иронию здесь просвечивает глубокая антитеза делового, официального, подвижного и правящего Петербурга старой, полузабытой, неподвижной, тяжеловесной и идиллической Москве. В ранних письмах Гоголь не раз противопоставляет украинскую провинцию Великороссии, из которой он знал только Петербург: оба элемента этой антитезы носят ту же окраску, что и Москва и Петербург в упомянутой статье. Попав за границу, Гоголь «на ином материале» еще раз пережил ту же противоположность по видимости умершего или уснувшего, но культурно ценного Рима и динамически-неспокойного, но, по его мнению, поверхностного и духовно пустого Парижа. Он пишет из Рима: «Мне кажется, как будто я заехал к старинным малороссийским помещикам», — конечно, он думает о своих старосветских помещиках. В 1842 году появляется отрывок незаконченной повести «Рим»: здесь запущенный и полузабытый тогда культурным миром Рим ставится выше города, который его современники считают центром духовной жизни Европы — Парижа. Продукты духовного творчества Парижа — книги символизируют здесь жуткие пауки-виньетки на их обложках. Сам Гоголь в частном письме так характеризует задачу «Рима»: «Показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций». Сходные мотивы есть и в «Выбранных местах», и во втором томе «Мертвых душ». И очень вероятно, что в этом втором томе жизненным идеалом должно было явиться «странничество» разорившегося Хлобуева, которого Муразов отправляет собирать деньги на построение храма, или счастье сосланного в Сибирь Тентетникова, за которым туда сле-

дует Улинька. Это жизнь и счастье одиноких и гонимых, «странников» и изгнанников.

В «самостилизации» Гоголя один из основных мотивов — именно одиночество. Одиночество отшельника. Что он чувствовал себя одиноким, иностранцем, «всем чужим» за границей, даже в Риме, где, как ему иногда казалось, он нашел свою истинную родину, в этом мало удивительного. Но такое же одиночество он переживал и в России. Несмотря на его личные и литературные связи, он не примкнул ни к одному из духовных течений, с которыми была тогда связана вся русская культурная жизнь: он не стал ни западником, ни славянофилом, ни политическим радикалом, ни украинофилом, одним словом, остался и идеологически «всем чужим», даже своим ближайшим друзьям и почитателям. Его отношение к России отличается типичной для романтиков «амбивалентностью». Он пишет в «Мертвых душах» и в «Выбранных местах» известные патетически-энтузиастические строки о России, но он же может сказать в частном письме: «Не житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живущи (sic!)». В чем основа этого духовного одиночества? Мне представляется невозможным объяснить это одиночество тем, что Гоголь приходит к русской и европейской культурной жизни из иного «культурного пространства», из украинской провинции. Ведь входили органически в ту же жизнь и земляки Гоголя, начиная с Богдановича и Капниста, и даже вовсе иностранцы, как Булгарин и Сеньковский (нас здесь не интересует, какую — положительную или отрицательную — роль они играли в этой инородной для них сфере). Причина изолированного положения Гоголя в другом: он не только человек иного культурного пространства, но и человек иного времени, иной культурной эпохи. Гоголь входит как эпигон «александровской эпохи» в культурную сферу, в которой зачинаются славянофильство и западничество, «официальная народность» и политический и социальный радикализм, зарождается «украинофильство» (личные друзья Гоголя Максимович и Бодянский) и новая украинская литература (те же друзья Гоголя, а рядом с ними — харьковские романтики, Гребенка, Шевченко и др.). Именно поэтому он, с одной стороны, «отстал» от своего времени, с другой — «опередил» его. В «отсталости» Гоголя отчасти и причина его идеологических «провидений», предвосхищения им идей Достоевского, эстетики символизма, некоторых религиозных мотивов, появляющихся снова только у современных русских религиозных философов. Мировоззрение и религиозность, эстетические воззрения и вку-

сы очень часто колеблются от поколения к поколению между двумя полюсами: поколение духовных «внуков» нередко возвращается к идеологии «дедов». Нередко отталкивание «детей» от «отцов» означает в то же время приближение их к «дедам». Так обстояло дело и с Гоголем. Он оказался во многом единомышленником и союзником последующих поколений именно потому, что духовно принадлежал к поколению своих отцов.

4

Произведения Гоголя нельзя рассматривать как или веселые сказки, или «сатиры» на современную ему русскую жизнь. Гоголь постоянно стремился быть «идеологом», глашатаем каких-либо идей; и полному пониманию идеологии (или идеологий), выраженной в его произведениях, мешает, а не помогает его литературный талант. В начале своего писательского пути он печатает «Ганца Кюхельгартена», поэму, в которой совершенно явно слышны элементы романтической проповеди. Идеологические мотивы в ранних произведениях Гоголя замечены немногими (Зеньковским, Гиппиусом). Только в «Петербургских рассказах» («Арабески»), а особенно в «Мертвых душах» идеологические мотивы высказаны открыто и прямо, особенно в «лирических отступлениях». В «Арабесках» Гоголь присоединяет к рассказам ряд научно-публицистических статей; органический характер этого соединения литературы и публицистики почти не замечен исследователями. Правда, именно в этих попытках уяснения своей идеологии Гоголю часто изменяет его творческая сила. Изменила она ему и в известных трех «эпилогах» к «Ревизору», — как можно назвать «Разъезд после представления “Ревизора”», «Развязку Ревизора» и «Дополнение к развязке...». Здесь он пытается дать идеологическое истолкование своей комедии. «Ревизор» оказывается символическим произведением (как драмы Кальдерона⁹). Город «Ревизора» — «духовный город» — символ души человека, бесчестные чиновники — страсти человека, ревизор — смерть, изрекающая последний суд над человеком. Это истолкование пьесы обычно отвергается как попытка *ex post facto* насильственно интерпретировать произведение, написанное с совершенно иными намерениями и заданиями. Между тем это истолкование уже потому представляется вероятным, что мы знаем, какого морального действия Гоголь ожидал от своей комедии; неужели же возрождение России должно было состоять только в том, что чиновники перестанут брать взятки? Самый об-

раз души как «города» или «замка»¹⁰ — старый традиционный образ христианской литературы (Иоанн Златоуст), в которой Гоголь был начитан.

Как только вышел первый том «Мертвых душ», Гоголь в письмах объявляет своим друзьям, что содержание «поэмы» — тайна, что первый том — только крыльцо дворца, дворца, о котором он пока ничего не сообщает. Об этом Гоголь говорит и в печатном тексте «Мертвых душ». Из намеков в письмах Гоголя и из рассказов тех, кто слышал в чтении Гоголя второй том, и из остатков рукописи второго тома совершенно ясно, что он считал задачей своего произведения вовсе не «разоблачение» «русских порядков», т. е. не сатиру, а изображение духовного возрождения некоторых из своих героев. Я не буду останавливаться на истолковании «Шинели», так как этой теме я посвятил особую статью («Современные Записки», том 67, 1938 г.)^{*11}. Здесь я хочу только напомнить, что в «Шинели» и в «Мертвых душах» Гоголем развита теория страстей («задоров»), при помощи которых зло («черт») овладевает душой человека. Надо, однако, признать, что при чтении произведений Гоголя читатель часто не замечает «идеологической программы» этих произведений так же, как для слушающего «программную музыку» по большей части оказывается скрыта за «прекрасными звуками» «программа», которую хотели выразить в этих звуках композиторы. В программных композициях, собственно говоря, можно бывает узнать только голоса птиц (да и то, по правде сказать, одной только кукушки, — единственная «программа», удающаяся всем без исключения композиторам). Из идеологических «программ» Гоголя обычно воспринимают не больше чем весьма примитивную мораль, остальное же ускользает от внимания, занятого всеми композиционными тонкостями гоголевской прозы.

5

Духовный тип Гоголя, пожалуй, ярче всего характеризуют те неоднократные «авто да фе» («акты веры»), жертвой которых становились его произведения и наброски. Эти «всесождения» характеризуют и внимание, и требовательность Гоголя к формальной стороне своих произведений, и его восторженное, энтузиастическое отношение к их идеологическому содержанию,

* К сожалению, просвещенная редакция этого почтенного журнала, очевидно, не веря в чертей, без моего согласия вычеркнула из статьи почти все места, в которых говорилось о чертях — не моих, а гоголевских!

связанное в то же время с некоторой неустойчивостью, шаткостью идеологии, со склонностью к дальнейшим поискам и переменам. И то и другое основание приводит в своих письмах сам Гоголь. Именно это соединение энтузиазма с неустойчивостью характерно для духовного облика людей «александровской эпохи». Именно эти черты Гоголя делали и делают его идеологию так трудно уловимой для современников и позднейших исследователей. Невыясненность многих эпизодов духовного развития Гоголя объясняется, однако, и странным невниманием исследователей к целому ряду существенных моментов его духовной биографии. На нескольких из таких эпизодов мне хотелось бы остановиться. Основная проблема духовной биографии Гоголя обычно формулируется так: как это возможно, что писатель, который с 1831 года («Иван Федорович Шпонька») до 1842 года изображал Россию как мир «чудовищ», в 1847 году в «Выбранных местах» и в те же годы в своей частной переписке не только ожидал быстрого «просветления», «преображения» этого мира чудовищ, но как будто даже объявлял этот мир — Россию — почти что идеальным. Ответы давались различные: одни полагали, что «Выбранные места» и переписка — просто симптом душевной болезни, другие (немногие), что Гоголь изображал «мир чудовищ» с определенным намерением, а «втайне» всегда стоял на точке зрения «реакционных» писем и «Выбранных мест», наконец, третьи просто полагали, что для духовной жизни романтика нет законов и что логика для него не обязательна. Первый ответ, наверное, ошибочен; второй — не удовлетворяет, так как он все-таки видит в развитии Гоголя разрывы и «скачки» и их не объясняет; третий — просто уклонение от ответа.

Надо наново поставить вопрос о «религиозном кризисе» или «религиозном развитии» Гоголя. До сих пор без достаточных или, лучше сказать, без всяких оснований сомневаются в свидетельствах самого Гоголя, что никакого религиозного кризиса он не переживал: «С двенадцати, может быть, лет я иду тою же дорогою, что и теперь, никогда не сомневаясь в основных мыслях...». «Дело у меня то же, какое и было всегда и какое замышлял еще в юности, хотя не говорил о том», — пишет Гоголь в 1847 году. Можно было бы считать такие свидетельства Гоголя, начинающиеся с 1844 года, «самостилизацией», если бы у нас не было ранних писем Гоголя, в которых он уже юношей 15 лет высказывает — пусть неясное! — религиозное волнение и возбуждение и говорит об утопических планах. Дальнейшее звено дает нам юношеская поэма «Ганц Кюхельгартен», которая поэтиче-

ски слаба, но полна элементами романтического утопизма. Яркие некоторые идеологические и, в частности, религиозные мотивы в ранних повестях «Вечеров» (Гиппиус). Совершенно ясно выступает религиозный утопизм Гоголя в сборниках 1834 года. Очень характерна повесть «Портрет». История оживающего портрета, соблазняющего художника, известна всем и имеет ряд параллелей. Своеобразна, однако, вторая часть повести, в которой Гоголь набрасывает историю таинственного портрета: это изображение антихриста в одном из его ранних «предварительных» воплощений, стремящегося в реалистическом портрете удержать свое бытие в этом мире. Художник, написавший портрет, ставший позже монахом, визионером и мистиком, начинает свой рассказ словами: «Скоро, скоро придет время, когда соблазнитель рода человеческого, антихрист народится в мир». При переработке повести в 1840 году Гоголь исключил это место и переделал дальнейшие рассуждения об антихристе. Почему? Обычно этот вопрос обходят молчанием, или если дают на него ответ, то ответ, поражающий своею странностью: причиной является развитие Гоголя в направлении к «реализму». Но ведь именно в это время, по мнению тех же истолкователей, начинается «религиозный кризис» Гоголя! Никто не поставил себе вопроса, не было ли в 1834 году людей, ожидавших близкого пришествия антихриста и конца мира. Оказывается, они были — и были в России. Еще в начале XVIII века швабский мистик Бенгель¹² вычислил на основании своей своеобразной теории истолкования Апокалипсиса, что конец мира близок — и наступит в 1937 году. Именно с этим предсказанием связано было выселение групп швабских пиетистов в Россию, на Кавказ и на Украину. В конце XVIII века пророчество Бенгеля было принято не кем иным, как врачом, профессором экономики, мистиком и духовидцем Г. Юнгом-Штиллином¹³ (1740–1817), сочинения которого были популяризированы в России вторым поколением русских масонов (после 1800 года). После наполеоновских войн под влияние Юнга-Штиллинга подпал сам имп. Александр I: известная баронесса Крюденер¹⁴ вовсе не была романтическим увлечением императора (такое впечатление остается, впрочем, только у любителей популярной исторической литературы, не сообщающей о «Крюденерше» ближайших сведений), а посредницей в знакомстве императора с идеями Юнга-Штиллинга и со Штиллином лично. Самая идея «Священного Союза» была связана в сознании Александра I с мыслью о необходимости сплочения христианских сил мира перед его близким концом. Это прекрасно показано в инте-

ресной немецкой работе о «Священном Союзе» Гильдегард Шедер¹⁵. Особенное значение имело в глазах Александра I, да и других русских поклонников Юнга-Штиллинга, то обстоятельство, что пророчества духовидца связывали конец мира с Ближним Востоком, со Средней Азией, где должен будто бы был состояться последний бой христиан с силами антихриста. По приказанию Александра, сторонники Юнга-Штиллинга (или скорее Бенгеля) были отысканы и в пределах Российской империи; это были два священника из м<естечка> Балта Херсонской губернии, Левицкий и Лесевич¹⁶. Оба были вызваны в Петербург и до падения министерства Голицына и разрыва Александра с мистиками проповедовали при дворе. После падения мистического направления оба вернулись в Балту. От Левицкого остались воспоминания, напечатанные в 1880 году. Разочаровался ли Александр в самом пророчестве, неизвестно... Время с 1815—<18>19 годов было использовано сторонниками Юнга-Штиллинга для издания ряда его сочинений по-русски, правда, с некоторыми цензурными сокращениями. Самого мистика его русские поклонники называли на «эзоповом языке» «Угроз Световостоков». Старые читатели и поклонники Юнга-Штиллинга были, конечно, еще живы в 30-х годах. Мне представляется единственным возможным объяснением странных слов Гоголя об антихристе в первом издании «Портрета» именно его знакомство с предсказанием Юнга-Штиллинга, в частности, с его апокалиптическим романом «Победная песнь». Что Юнг-Штиллинг еще и гораздо позже мог увлекать читателей, и читателей незаурядного масштаба, показывают «Три разговора» Владимира Соловьева, не говоря уже о весьма вероятном влиянии Штиллинга на Шеллинга (ср. об этом статью Э. Бенца).

Нельзя с уверенностью утверждать, что Гоголь верил в предсказание Юнга-Штиллинга. Возможно, что он только использовал его с литературными целями. Но во всяком случае, он позже при переделке рассказа не хотел сохранить даже воспоминания о нем. Не исключено, что с эсхатологическими чаяниями Гоголя связаны и его ожидания, что «Ревизор» — за год до конца мира! — будет иметь какое-то особое влияние на судьбы России, и его бегство в Рим, когда эти ожидания не исполнились. А через четыре года он устраняет и намеки на Юнга-Штиллинга, вычеркнув из «Портрета» слова об антихристе, имеющем вскоре народиться. Что Гоголь знал сочинения Юнга-Штиллинга, указал мой ученик по Марбургскому университету, доцент Л. Мюллер, обративший внимание на то, что самое содержание

рассказа «Портрет» напоминает один эпизод из воспоминаний Юнга-Штиллинга, содержащий сходную с историей портрета у Гоголя историю портрета одного «великого преступника»; остается, однако, подождать, пока работа Л. Мюллера будет напечатана. Мое объяснение содержания рассказа «Портрет» несколько гипотетично: если оно правильно, оно указывает и на склонность Гоголя к религиозному возбуждению и фантазированию, к религиозному «мечтательству», и на неустойчивость его взглядов. Гораздо убедительнее с этой точки зрения другой загадочный эпизод из духовной биографии Гоголя, относящийся к 1838 году. От этого времени сохранился ряд писем из Рима двух польских иезуитов, П. Семененка и Яньского, членов ордена ресурекционистов («Zmartwychwstańców»), в которых авторы писем сообщают о своих встречах и разговорах с Гоголем, о своей надежде привлечь его в лоно католической церкви и о дальнейших видах, которые они на него имеют. После того, как на эти письма обратил внимание (в «Вестнике Европы» 1904 г.) А. Кочубинский, никто из биографов Гоголя не дал им удовлетворительного объяснения. Только Вересаев, перепечатав в книге «Гоголь в жизни» ряд отрывков из этих писем, сопроводил их вряд ли убедительным замечанием, что Гоголь просто обманывал иезуитских патеров — и обманывал с тем, чтобы понравиться кн. Зинаиде Волконской!¹⁷ Оба польских иезуита ссылаются, между прочим, и на встречи и беседы Гоголя с Мицкевичем: Гоголь, действительно, встречался в Париже с польским поэтом и мистиком и как будто бы даже оставался в Париже подольше, чтобы продлить возможность этих встреч. Не буду здесь останавливаться еще на вопросе об отношениях Гоголя с польским поэтом Богданом Залесским¹⁸.

Если отвергать всякую реальную основу писем Семененка и Яньского, если считать их следствием искусной мистификации Гоголя, то все же останутся некоторые необъяснимые факты его биографии, относящиеся к тому же времени. Гоголь именно в эти годы ощущал Рим как свою истинную, им только теперь найденную родину; именно в эти годы Петербург представлялся ему только тяжелым сном: «Снега, департамент, подлецы», — вот все, что осталось у него в памяти от этого сна... Это увлечение Римом можно легко объяснить эстетически и климатически, — Гоголь ненавидел холод. Но, конечно, речь может идти только о религиозных мотивах, когда в то же время Гоголь пишет, что «только в Риме можно молиться». Кроме того, он в одном из своих писем того же времени к матери опровергает слух о том, что он

хочет перейти в католичество. Конечно, слухи могут возникать и без всяких оснований. Но письмо Гоголя содержит странное утверждение, что переход в католицизм даже и не нужен (!), так как между христианскими исповеданиями нет, по существу, никакого различия. Это звучит прямо как цитата из письма «александровской эпохи». 1838 год, пожалуй, самый темный, неизвестный в жизни Гоголя. Мне представляется, что почти невозможно сомневаться в том, что склонный к религиозным увлечениям Гоголь мог искать по крайней мере ответов на свои религиозные запросы у польских «patres». Недаром он позже утверждал, что в своих религиозных исканиях он не сомневался только «в основных мыслях». Во всяком случае, Гоголь в Риме занимался отнюдь не только изящной литературой. Он усиленно читал богословские произведения — и, как видно, еще до начала «религиозного кризиса», даже если считать началом уже 1842 год. Для характера работы русских историков литературы показательно, что вопрос о степени знакомства Гоголя с богословской литературой не выяснен только потому, что этим вопросом никто не заинтересовался в достаточной степени. Даже профессора духовных академий! В Киевской духовной академии находилась рукопись Гоголя, содержащая выписки из отцов Церкви и религиозных писателей. Об этой рукописи дал только краткие сведения известный историк украинской литературы Н. Петров¹⁹. Рукопись содержала выписки из 17 отцов Церкви (между прочим: Тертуллиана, Афанасия, Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Нисского, Кирилла Александрийского, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина и др.) и из десяти дальнейших, по преимуществу старых украинских богословских писателей XVII–XVIII веков. Так как рукопись не описана достаточно детально, то возможны только гадания о влияниях этой литературы на Гоголя. Надо заметить, что Гоголь в последние годы жизни читал по латыни (хорошей предпосылкой для этого служило знание итальянского языка) и усиленно занимался греческим. Как бы то ни было, несомненно, Гоголь прекрасно знал одно из классических произведений католической назидательной литературы — «Подражание Христу», приписываемое Фоме Кемпийскому. Эта книга, вышедшая на различных языках в более чем тысяче изданий, была переведена на церковно-славяно-русский язык в половине XVII века, печаталась по-русски в XVIII веке, в начале XIX века ее перевел Сперанский, а во второй половине XIX века — Победоносцев. Кроме полных изданий, были и два русских собрания афоризмов из этой книги. Оба со-

брания «александровской эпохи» (Москва 1818 г. и СПб 1819 г.). Гоголь в своих письмах только один раз прямо цитирует «Подражание Христу», но об его отношении к этой книге свидетельствует прежде всего тот факт, что к новому, 1844 году он разослал несколько экземпляров этой книги, к сожалению, неизвестно, какого издания, своим друзьям с просьбой читать ее ежедневно по утрам и после чтения заниматься размышлениями о прочитанном... Книга не была для всех друзей Гоголя новостью: о М. Погодине знаем, что он читал «Подражание Христу» еще в 1822 году; но особенно возмутился советом Гоголя старый Аксаков, как истый сын XVIII века, державшийся «бытового православия», но внутренне равнодушный к религиозным вопросам, Аксаков читал «Подражание Христу» уже в начале века, вероятно, в тот же период религиозного энтузиазма александровской эпохи. В увлечении Гоголя «Подражанием Христу» Аксаков увидел какой-то «опасный поворот». Гоголь только один раз прямо цитирует «Подражание Христу», т. е. называет его, но если внимательно читать его частную переписку, его письма назидательного типа, те, которые презрительно называли «письмами Гоголя к калужской губернаторше», то можно заметить, что именно здесь — источник очень многих его «назиданий». Что на это не обратили внимания исследователи — весьма характерно для состояния русской истории литературы. Если даже считать, что в «Подражании Христу» очень много мыслей, которые восходят к старой христианской традиции и которые Гоголь поэтому мог заимствовать и из других произведений, в частности, из святоотеческой литературы, то все же несомненно, что Гоголь хотя бы часть своих поучений и сентенций вычитал у Фомы Кемпийского. Если уже упомянутая сентенция «жизнь есть странствование» восходит к Новому Завету, то примыкающая к ней у Гоголя «мы здесь только гости» подробно развита в «Подражании Христу»; сюда же восходит, вероятно, значительная часть рассуждений о положительном значении страданий и болезней, а особенно о пользе для человека получаемых им «пощечин». Отзвуки «Подражания Христу» можно встретить и во второй части «Мертвых душ» — упомяну только один из вариантов рассказа Чичикова «Полюбите нас черненькими»; этот рассказ о нечистоплотной проделке русских чиновников приводит самого Чичикова в восторг, вызывает у ген. Бетрищева некоторое удовольствие — «ловкая проделка», у Улиньки — возмущение; Гоголь продолжает: «Но не было там четвертого, который бы пожалел падших братьев...» — это, конечно, вариации на тему «Подража-

ния Христу» о сострадании к грешникам. Увлечение Гоголя «Подражанием Христу» отнюдь не следует считать тождественным с его увлечением католицизмом или даже только с интересом к католицизму. Несмотря на все содержащиеся в этой книге католические элементы, она может с полным правом считаться продуктом надконфессиональной мистики. «Подражание Христу» влияло не только в католическом мире. Протестанты не раз издавали его, обычно слегка обрабатывая текст: так поступил уже И. Арндт в XVI веке; с очень незначительными изменениями издал «Подражание Христу» близкий к мистикам вокруг Александра I в 1815–<18>19 годах пастор Госснер. Частным письмам Гоголя и даже «Выбранным местам», напечатанным им как литературное произведение, работы о Гоголе последних десятилетий посвящают очень мало места или вовсе их игнорируют. Это тем более странно, что почти половина «Выбранных мест» посвящена литературным вопросам. Но письма морального и религиозного содержания вызывают всеобщее возмущение, даже у тех, кто их не читал: я припоминаю, как лет пятнадцать тому назад лауреат каких-то премий, молодой историк литературы и философ с советской Украины²⁰, рецензируя работу одного моего ученика, обнаружил полное незнание того, что кроме «Выбранных мест» нам известны еще и в большом количестве (4 тома!) частные письма Гоголя. Впрочем, тот же рецензент — уже вне сферы своей «специальности» — смешивал и пантеру с леопардом... Конечно, в «Выбранных местах» можно найти достаточно мест, подающих повод к такому возмущению: в них есть и признание крепостного права как существующего учреждения, в них есть и высокая оценка русского самодержавия и многое другое. Но это не дает исследователям Гоголя права не замечать и не отмечать того, что в «Выбранных местах» он пытается бороться иным, публицистическим, оружием против тех же явлений русской жизни, против которых он боролся эстетическим оружием в своих рассказах и романе, против явлений, которые он сам клеймил именем «пошлости». Конечно, публицистическое оружие Гоголя оказалось гораздо менее действенным, чем эстетическое, оказалось тупым. Но нельзя из-за этого проходить мимо ряда мыслей, высказанных им в его переписке, мыслей, которые позже создали бессмертную славу Достоевскому как мыслителю. Назову только главнейшие из них: «нет в мире виноватых», идея «оцерковления» всей жизни, мысль о том, что безрелигиозная культура неизбежно осуждена на упадок и разложение, наконец — и тогда уже вовсе не новая — мысль о взаимной

близости эстетических и этических ценностей и т. д. (об этом писал в цитирувавшейся русской и в немецких статьях Зеньковский). Следует, однако, обратить внимание на те мысли Гоголя, которые вызывали особое возмущение его современников и приводят в неистовство наших современников, хотя последние могли бы уже стать на историческую точку зрения: это сближение и слияние проблем религиозных и экономических. «Исполняя то, что повелел нам Бог», хозяин тем самым обеспечивает свое благосостояние. Гоголь с сочувствием приводит будто бы распространенную среди крестьян мысль, что «богатый хозяин и хороший человек — синонимы». «В которую деревню заглянула только христианская жизнь, там Мужики лопатами гребут серебро» (не совсем подходящая цитата из «подблюдной песни», процитированной Пушкиным в «Евгении Онегине»). По мнению Гоголя, каждому человеку дано Богом «свое место» в мире (позже и это повторено Достоевским), он призван Богом к определенной работе и состоит как будто бы «на службе Бога», которого Гоголь называет то «Небесный Хозяин», то «Небесный Полководец». Каждый человек может стать служащим, подручным «Небесного Хозяина», «управителем»: «Богатые, прежде всего вспомните, что вы владеете страшным даром... Вам даны, вы не имеете права отказаться (sic!). Вы должны помнить, что Вы только управители у Бога» (из набросков Гоголя, изд. Тихонравова-Шенрока, том 6, 525). И как «управитель», человек «богатый» или «начальник» ответствен не только за материальное, но и за «душевное хозяйство» (термин святоотеческий!) своих подчиненных. Труд «на своем месте» Гоголь считает морально-религиозной обязанностью каждого: поэтому и «управитель» должен требовать от своих подчиненных максимально-интенсивного труда «а службе Божией. И только верующий христианин может иметь при исполнении данной ему от Бога хозяйственной задачи полный успех: вера является гарантией благосостояния! Это и привело Гоголя к той апологии и проповеди «эксплуатации», которая так возмутила критиков его «Переписки». Скажу наперед, что мне кажется, что Гоголь самостоятельно додумался до своих взглядов в этом вопросе. Но указание некоторых параллелей к его «Выбранным местам» покажет нам, что вряд ли его строгие критики были правы, объявляя его книгу «странной» и единственной в своем роде. Прежде всего, уже кое-кто из украинских и русских современников Гоголя высказывал — отчасти в печати — сходные мысли. Позднейший первый биограф Гоголя, П. Кулиш (1819–<18>97) за несколько лет до «Выбранных мест» выпустил

странную «Справочную книжку для помещиков Черниговской губернии», которая была проникнута сходным пафосом религиозно-освященного и морально-санкционированного хозяйствования. Еще ярче эти мотивы звучат в небольших по объему и написанных по-украински «Листах до любезних земляшв» (1839) старшего современника Гоголя, замечательного украинского прозаика, Г. Ф. Квитки-Основьяненка (1778–1843), в прозе отчасти подражавшего Гоголю: здесь и крепостной труд и русская монархия находят морально-религиозное оправдание. Квитка так же духовный выученик немецкого пиетизма, как и В. А. Жуковский; на опубликованные только много лет по смерти последнего «Отрывки» (писаны в 1840–<18>46 гг.) до сих пор не обращено достаточного внимания; между тем в них встречаем разительные параллели к «Выбранным местам» Гоголя. Не забудем, что в эти годы Жуковский был уже интимным другом Гоголя. Квитка и Жуковский ведут нас к западному протестантизму, в котором найдем самые поразительные параллели к «хозяйственному мировоззрению» «Выбранных мест». Я не искал бы, как С. Шамбинаго в заслуживающей внимания книге о Гоголе «Трилогия романтизма» (Москва, 1911), параллелей в книге Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Книга итальянского патриота вышла, как известно, в 1836 году в русском переводе и вызвала сочувственный отзыв Пушкина. Гоголь мог читать эту книгу и по-итальянски. Но и Шамбинаго, посвятивший книге Пеллико главу своей работы, не может найти другого сходства с «Выбранными местами», чем только в тематике... Гораздо более яркие параллели дает Германия и англо-саксонский мир. Правда, соприкосновение с этими культурными сферами было для Гоголя возможно только через чужое (французское, русское, итальянское) посредство; мы пока не можем сказать ничего определенного о том, мог ли Гоголь путем переводов на знакомые ему языки или из журнальных статей что-нибудь узнать о своих «духовных родственниках» в Германии, Англии и Америке. Отчасти посредником в ознакомлении с этими писателями мог быть Жуковский. Во всяком случае, ряд очень ярких параллелей дают замечательные «Патриотические фантазии» (1765–<17>75) Юстуса Мезера²¹ (1720–<17>94), где мы находим совершенно то же моральное и только в слабой степени религиозное оправдание «эксплуатации» крепостных, требование старания и прилежания в работе от подчиненных и усиленного надзора за этой работой со стороны помещиков и начальников, высших чиновников. Отдельные советы могут показаться такими же неприемлемыми

и «возмутительными», как и советы Гоголя: Мезер советует и пораньше будить слуг, и не оставлять им слишком много свободного времени, и бранить, и наказывать их. Правда, Юстус Мезер писал за 70 лет до Гоголя. Но культурная и экономическая дистанция между Россией и Украиной 1830 года (время, к которому относятся последние реальные впечатления Гоголя от жизни в деревне) и Вестфалией и Оснабрюком 1770 года не такого уж «огромного размера»; их хронологическое расстояние нужно сократить на несколько десятилетий, если мы хотим произвести их социологическое сравнение. Во всяком случае, крепостническая и политическая идеология Мезера может рассматриваться как близкая параллель к взглядам Гоголя в 1847 году и к взглядам Квитки и Кулиша. Эта идеология мелкого помещика и чиновника, конечно, не могла найти сочувствия у русских читателей и критиков: русская интеллигенция вообще с некоторым пренебрежением и даже с презрением относилась к хозяйственным проблемам, что позже приводило в такое отчаяние П. Б. Струве²². Как раз в 40-х годах XIX века к голосу помещичьей интеллигенции присоединились голоса «разночинцев» (Белинский), осуждавших увлечение хозяйственными задачами уже с совершенно иной точки зрения.

«Отрывки» Жуковского уводят нас в другую сторону — к параллелям из англо-саксонского мира. Может быть, излишне здесь напоминать о Б. Франклине, хотя дневник его и содержит то же сближение моральных и хозяйственных «добродетелей», но религиозные мотивы у него слабы. Впрочем, процитируем хотя бы один отрывок: «Вспомним, что время — деньги. Кто ежедневно может приобрести 5 шиллингов, но идет гулять на полдня или ленился в своей комнате, тот должен считать — даже если он тратит на свои удовольствия только 6 пенсов, — что не только эти деньги, но и 5 шиллингов он истратил или, лучше сказать, выбросил... Кто уничтожает пять шиллингов, тот убивает все то, что при их помощи могло бы быть произведено — целые ряды (горы) фунтов стерлингов». Гораздо ярче такое мировоззрение, притом главным образом религиозно обоснованное, мы встречаем у пуритан и пиеетистов: Бекстера, Весли, Шпенера²³. И для них, как для Гоголя, профессия — Божие призвание (так, впрочем, уже и в «Аугсбургском вероисповедании» Лютера); поэтому профессию менять — грех. И надо в своей профессии работать с максимальным возможным успехом, который для кальвинистов (и вообще принимающих учение о «предопределении» вероисповеданий) является симптомом или даже гарантией «избранности». «Если

Бог показывает одному из “своих” путь к заработку, то у Него (Бога) наверняка есть при этом какая-то цель». Бекстер пишет: «Если Бог указывает вам путь, на котором вы без вреда для своей души и для других законным образом можете приобрести больше, и вы все-таки следуете по пути, приносящему меньше, то вы противитесь целям вашего призвания (calling), вы отказываетесь быть Его управляющим (Stewart) и принять Его дары, которые вы могли бы применить для Него. Не для плотских наслаждений и грехов, но для Бога вы должны работать, чтобы стать богатыми». Джон Весли говорит о том же: «Религия необходимо повышает работоспособность (industry) и бережливость (frugality), а они не могут произвести ничего иного, как богатство. Мы должны побуждать всех христиан приобретать, что они могут, и сберегать, что для них возможно, т. е. в результате — быть богатыми».

Можно было бы привести еще ряд таких же примеров из литературы протестантских сект: квакеров, методистов, баптистов, гернгутеров-цинцендорфианцев, моравских братьев, — у Коменского²⁴ о том же говорится в его «Praxis Pietatis», составленной по Бейи. Но уже и приведенных примеров достаточно, чтобы видеть, что мотивы «Выбранных мест» не стоят одиноко в истории религиозной литературы и, во всяком случае, не являются в ней каким-то исключением. Не исключение даже его советы рациональной организации домашнего хозяйства: совет делить деньги «на семь куч» и «обрезать себя в расходах по каждой куче», чтобы оставлять деньги на милостыню, идеал «жены-хозяйки», служба чиновника «не так, как бы он служил в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос». (Обратим внимание на то, что Гоголь здесь говорит о современной ему России, как о «прежней России»!) Все это находит себе параллели в старой и новой литературе тех протестантских течений, которые ставили себе задачей постоянную, непрерывную «реформацию» не только церкви, но и всей жизни (напр., Коменский с его «Haggaeus redivivus»). Полную ясность в вопросе об источниках мыслей Гоголя, если и поскольку он здесь не вполне самостоятелен, может дать только детальное исследование, без которого он и дальше будет оставаться «неизвестным писателем».

Я намеренно не останавливался еще на ряде пунктов идеологии Гоголя, напр., на его политических воззрениях, во многом напоминающих «реакционного романтика» Адама Мюллера. Но для меня было существенно не только найти духовных родственников Гоголя, но и показать его склонность увлекаться

различными течениями и идеями — и затем покидать их. Мы с полной определенностью можем сказать, что и увлечение Гоголя Юнгом-Штиллином, о чем мы можем говорить с известной степенью вероятности, и его симпатии к католицизму, о которых мы знаем более определенно, во всяком случае, носили преходящий, временный характер. Очень возможно, что с течением времени и увлечение Гоголя «Подражанием Христу» ослабело (цитированное место из второго тома «Мертвых душ» принадлежит одной из первых, случайно сохранившихся редакций), наконец, Гоголь сам под влиянием нападок на «Выбранные места» и врагов и друзей как будто охладел к высказанным там воззрениям, по крайней мере, склонен был признать форму, в которой они там высказаны, «незрелой»... Эта «неустойчивость», шаткость, может считаться и положительной чертой интеллектуального характера Гоголя. Но как бы то ни было, она несомненно также сближает его с поколением его «отцов», с людьми «александровской эпохи».

6

Нельзя в заключение не остановиться и на формальной стороне произведений Гоголя. Как я уже упоминал, именно эта формальная сторона, композиция и «инструментовка» гоголевской прозы по большей части даже закрывает от читателей идеологическую сторону произведений Гоголя, их идейные «программы».

Как сложна формальная сторона произведений Гоголя, легко видеть, попытавшись адекватно перевести на любой язык хотя бы несколько строк любого его произведения. Уже несравненная ритмика его прозы (напр., в этом отношении особенно интересной «Страшной мести») очень показательна. Тайна этой ритмики до сих пор не разгадана, в законах ее построения есть какое-то сродство с законами средневековой латинской прозы (клаузулы и т. д.). Но не эта тема будет нас здесь занимать.

Гоголь советовал другим писателям — и сам следовал этому совету — переписывать свои произведения по многу раз, исправляя каждый список потом с течением времени слово за словом, пока в рукописи не останется свободного места: «Я переписываю восемь раз». Как Гоголь работал над своими текстами, показывают сохранившиеся в разных редакциях его произведения. Естественно, что при этом возникал его «тяжелоукрашенный», говоря терминами средневековой поэтики, стиль. Можно сказать, что язык Гоголя перегружен стилистическими украшениями. При

переработках он заботился не об «облегчении» бремени украшений, а о его обогащении без меры. Он — по удачному сравнению Шевырева — поступал, как щедрый хозяин, не жалеющий начинки для пирога. Гоголь не только не жалел «начинки», но и переполнял ее пряностями. В этом смысле он — антипод Пушкина и ближе всего к традициям украинского литературного барокко, тема, на которую не раз указывали (Гиппиус, Бем), но которую никто не обработал. Именно эта переобремененность стиля Гоголя украшениями заставляет остановиться еще на одном вопросе, по которому обычно и в наши дни высказываются мнения, заставляющие признать Гоголя и как стилиста «неизвестным» писателем. Это — определение стиля Гоголя как «реалистического»²⁵.

В Советской России «реализм» Гоголя считается не подлежащим сомнению фактом. Гоголь — основатель русского «реализма», а «социалистический реализм» принадлежит к священным устоям советской литературы. Иностранные авторы, следуя русским, часто считают «реализм» Гоголя фактом, в котором невозможно усомниться (по немецкому выражению «reif für Lehrbuch»). Конечно, Гоголь оказал огромное влияние на позднейший русский реализм. Но утверждение, что он сам был «реалистом», требует проверки.

Обычно ограничиваются определением реализма как верности действительности. Реализм с этой точки зрения есть «изображение действительности так, как она есть». Но понятие «действительности» вовсе не так просто, чтобы им можно было пользоваться без ближайшего анализа. Для романтика привидения, предчувствия, сны так же реальны, как и повседневная действительность. Для верующего христианина «божественный мир» принадлежит высшей ступени действительности, чем мир природы. Для платоника «идеальный мир» — единственная реальность, между тем как эмпирический мир обладает только тенью реальности, является только иллюзорной действительностью. Понятие «действительности» в советской теории литературы так же неопределенно, как и понятие «материи» в советском философском материализме. Но о необходимости внимательного отношения к основным понятиям следовало бы подумать и каждому несоветскому историку литературы! Вряд ли вообще в понятии действительности нуждается литературная теория, в особенности история литературных стилей. При характеристике литературного течения, каким является литературный «реализм», следует исходить из критериев литературных. Основным

в новом литературном стиле является употребление новых литературных средств и приемов или иное взаимоотношение старых. И у реалистов имеется яркая новая литературная черта: место метафорических и гиперболических приемов романтики в реализме занимают приемы метонимические (Якобсон²⁶). Нам нет, однако, надобности здесь подробно останавливаться на этом теоретическом вопросе. Русские реалисты, без сомнения, многому научились у Гоголя. Но внимательное изучение начатков русского реализма показывает, что при этом они стремились устранить из своего стиля наиболее характерные особенности гоголевского стиля, как его романтического периода, так и стиля примыкавшей к Гоголю «натуральной школы». Ряд принадлежавших к ней крупных писателей позже перешли к реалистическому стилю. Переход к реализму обозначал для них отказ от большинства, если не от всех, специфических черт стиля «натуральной школы», о которой есть ряд прекрасных, хотя и не исчерпывающих исследований В. Виноградова²⁷. Мы остановимся только на Гоголе самом и по преимуществу на элементах его натурального стиля.

Мне придется цитировать достаточно известные места из произведений Гоголя. Но так как в последнее время приходилось встречать даже работы специалистов, не цитирующих Гоголя дословно, так как у них его сочинений «нет под рукой», то, надеюсь, читатели на меня не обидятся.

«Реальность» мира Гоголя совершенно иная, чем «реальность», изображаемая русскими «реалистами». Эта реальность мира Гоголя не имеет ничего общего с русской «действительностью, как она есть» (или была в его время). Если составить себе представление о России 30-х годов XIX века по произведениям Гоголя, то окажется, что там бурые свиньи похищали из судебных учреждений жалобы, направленные против их хозяев; что носы, оставивши своих «законных собственников», странствовали по Петербургу в качестве высоких чиновников; что такой «самоопределившийся» нос казался, если не нормальным, то возможным явлением полицейским чиновникам, служащим бюро по приему объявлений, врачам, вообще населению столицы; что русские женихи выпрыгивали непосредственно перед свадьбой из окон; что жители губернского города, начиная с губернатора, могли принять проезжего проходимца за Наполеона, бежавшего с острова Св. Елены; что чиновники вставали из могил и блуждали по столице в поисках украденной у них шинели; что проезжающего в России могли считать ревизором только на том основа-

нии, что он «денег не платит и не едет». Конечно, и «реалисты» не просто фотографируют действительность, — это не было бы искусством. Но они пытаются придать нарисованным ими картинам характер вероятности и правдоподобия. Стилистика Гоголя не только не ставит себе такой задачи, но преследует задачу совершенно противоположную: изобразить невероятное и неправдоподобное. В произведениях Гоголя мы встречаем немало лжецов. Но вымыслы самого Гоголя далеко превосходят все, что рассказывают и Хлестаков и Ноздрев. Может ли в самой глухой провинции дворянин расхаживать в коричневом сюртуке с голубыми рукавами? Можно ли в той же провинции встретить даму, откусившую нос у заседателя? Поверит ли самая глупая помещица, что мертвых крестьян («мертвые души») можно покупать и продавать и станет ли она справляться о их действительной цене? В конкретных подробностях — обозначениях рангов и чинов, в описании процедур продажи и покупки крестьян, в описании нравов и обычаев — Гоголю указывали на многочисленные ошибки, которых он не исправлял. Чувства зрителя-реалиста при представлении «Ревизора» сам Гоголь выразил в возмущенных словах одного из посетителей театра в «Разъезде после представления “Ревизора”»: «И взятки не так берут!»

Как собственно берут взятки, Гоголя не интересовало: он, как сказано, вовсе не стремился к правдоподобию. Излюбленный прием Гоголя — гипербола. И большинство его гипербол переходит за границы всяких реальных возможностей. Уже в рассказах лжецов у Гоголя встречаем смелые гиперболы: для приглашения директора департамента отправляют «тридцать пять тысяч одних курьеров»; арбуз стоит сто рублей; другой арбуз — «в семьсот рублей»; ручки дверей в Петербурге таковы, что надо «два часа» мыть руки, чтобы осмелиться взяться за них; мосты в Петербурге «висят, без всякого, так сказать, прикосновения»... Гоголь аккомпанирует голосам своих лжецов гиперболами еще более невероятными: он сыплет, как из мешка, слова «огромный», «чудовищный», «страшилище», «куча», «океан», «бездна»; «невиданные», «небывалые» вещи у него на каждом шагу; он характеризует самые обыденные предметы своими излюбленными оборотами — «каких и не видано даже», «каких невозможно описать», «каких никто и во сне не видел», «каких нигде нельзя найти» и т. д. Этот особый вид гиперболы («гиперохе»²⁸) повторяется всюду: «красота не виданных землею плеч», «путешествия, каких не может описать никакое перо», «усы, которых нельзя изобразить пером», «храп неслыханной густоты», повозка, «ни

на что не похожая». Масса вещей «блестящих», «сверкающих», «нестерпимо сверкающих». Числа Гоголя всегда гиперболичны: по петербургскому снегу мчатся «тысячи саней», в магазинах «тысячи сортов шляп», на площади в Варшаве собирается «миллион народа», «миллион плакатов» развешан по стенам Парижа. Но что числа! У Гоголя всегда найдутся средства для гипербол еще более эффектных: лакей бежит с подносом, на котором стоит столько же чайных чашек, как птиц на морском берегу; перья в канцелярии скрипят так, как будто бы воз с хворостом ехал по лесу, почва которого покрыта на четверть сухими листьями; из трубки курильщика дым подымается, как из трубы парохода; человек смеется так громко, как будто два быка, став друг против друга, заревели разом.

Если Гоголю встречается в другой раз тот же предмет, он варьирует свои гиперболы: одни штаны — «как бочонок», другие — так широки, что если бы раздуть их, в них можно бы было поместить дом с двором и постройками; третьи — «шириной в Черное море». В карманах четвертых можно поместить «по арбузу», в кармане пятых — «быка», в кармане шестых — «лавку».

В совершенно «реалистическом» контексте у Гоголя упоминается коляска; Гоголь предупреждает: «Долгом считаю предупредить читателя, что это была именно та самая бричка, в которой ездил еще Адам; и поэтому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сушая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа, должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай». С этой коляской может конкурировать только рот «величиной в арку Генерального Штаба» — эта арка высотой в четыре этажа.

Это только немногие примеры гиперболического стиля Гоголя — и этот стиль, конечно, исчезает в русском реализме: такие гиперболы остаются только в рассказах патологических лжецов, но и они в своих преувеличениях гораздо скромнее Гоголя — ср., напр., «Русские лжецы» Писемского²⁹.

На примерах гипербол можно было видеть, что гиперболы Гоголя направлены в «обе стороны»: неслыханная и невиданная красота прекрасного на одной, и невыразимая низость пошлого на другой стороне. Такая же «обоюдосторонность» и в метафорах Гоголя. Характерны для его «натурального стиля» «метафоры вниз», т. е. сравнения людей с животными. «Метафоры вниз» особенно часты в «Мертвых душах». Но одновременно с «Мертвыми душами» печатается «Рим», переполненный «метафорами

вверх», гиперболическим изображением прекрасного. Именно «Рим» и напечатанные еще на пять лет позже «Выбранные места» показывают, что Гоголь идеологически не переставал быть романтиком и, если угодно, «эстетом». Это ставит нас перед вопросом об идеологических источниках его «натурального стиля». По моему мнению, «натуральный стиль» создан и разработан Гоголем не с какой иной целью, как только чтобы преувеличенно-отвратительным, отталкивающим изображением повседневности в мрачных красках вызвать у читателя ту же тоску по высшему, неземному миру, которую Гоголь в произведениях романтического стиля (и в «Выбранных местах») пытается вызвать иными средствами — лиризмом и энтузиазмом. Метафоры и сравнения, направленные «вниз», преследуют именно эту цель.

Уже в украинских рассказах Гоголь пользуется «метафорами вниз»; в частности, сравнениями людей с животными и предметами: «спящие храпят, как коты» (которые в действительности вовсе не храпят), один из героев «бежит, как скаковая лошадь» и т. п. В поздних произведениях, в частности в «Мертвых душах», сплошь и рядом выступают герои, имеющие в себе более животного, чем человеческого. Гоголь вычеркнул из окончательной редакции первого тома «Мертвых душ» отрывок, характеризовавший его героев как «чудовищ», о которых он, впрочем, говорит и в окончательном тексте, и в касающихся «Мертвых душ» письмах; при этом исчезло и сравнение какого-то героя с «собакой во фраке», но остался, напр., Собакевич, похожий на «медведя средней величины», на которого похожи и предметы, окружающие Собакевича; здесь же мы встречаем и крестьянина, больше похожего на индейского петуха, чем на человека, и прыжки, напоминающие прыжки козла, и швейцара, «как толстого откормленного мопса»; человек в хорошем настроении напоминает Гоголю кота, у которого пощекотали за ушами, в плохом настроении — облитого водою пуделя, — «хвост между ногами и уши опущены» и т. д. без конца. Не менее эффектны и сравнения с животными, вкладываемые Гоголем в уста своих героев: «совершенная свинья в ермолке», «черепаша в мешке» и, конечно, не встречающийся ни в какой зоологии «скотина преестественнейший»... Но и чисто реалистические мелочи у Гоголя гиперболически и неправдоподобны. В его «натуралистическом стиле» характерны описания одежды героев; она всегда разорванная, заплатанная и грязная или «невиданная»: «мальчик в казацком кафтане с черными заплатами»; «лакей в сером

сюртуке с черными заплатами»; человек «в сюртуке с длинными полами и таким огромным воротником, что голова сидела в воротнике, как в бричке»; судейский чиновник с «изорванными рукавами»; наконец, «на мундире городничего посажено было восемь пуговиц; девятая, как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах всегда спрашивает, нашлась ли пуговица»; скупец Плюшкин, богатый помещик в «совершенно неопределенном платье», какое носят деревенские бабы, спина которого запачкана мукою, «с большой прорехою пониже», и который бреется так редко, что нижняя часть его щеки напоминает железную щетку, которою на конюшне чистят лошадей... Как это все правдоподобно!

Мы могли бы обратиться и к именам героев. Здесь и имена, не встречающиеся ни в каком календаре, вроде «Макдональда Карловича» (в русской провинции!) или Маклатуры Александровны, Алкида и Фемистоклюса, рядом с «французом Куку» и «князем Чепчайхелидзевым»... Длинной вереницей тянутся Трифилий, Дула и Варахасий, Павсикакий и Вахтисий, Мокий, Сосий и Хоздазат, Псой Стахич Замухрышкин, Сквозник-Дмухановский, Ляпкин-Тяпкин, Земляника, Голопупенко и Чухопупенко, Кизяколупенко, Закрутыгуба и Вертыхвист, хотя остро-ты, скрытые в украинских именах, не всегда понятны русскому читателю.

Этих немногих примеров достаточно, чтобы показать, что стиль Гоголя существенно отличается от стиля русских реалистов: и именно потому, что Гоголь очень мало интересовался правдоподобием своих образов и очень редко применял один из излюбленных приемов реалистов, служащих цели сделать их образы правдоподобными, — а именно «мотивировку». В стремлении к правдоподобию реалисты «мотивируют» не только действия своих героев, но и все отдельные элементы рассказа, часто до мелочей, которые могли бы оказаться или показаться невероятными. Именно это стремление к мотивировке заставляет реалистов расширять объем своих прозаических, а часто и стихотворных произведений до размеров больших романов: ведь нужно так много места, чтобы обрисовать характер героя, его «среду», часто и генеалогию. В произведения включается «статистика», бытовые и «физиологические», как тогда называли, очерки жизни. Действия героев объяснены; только лжецы лгут, только безумцы действуют нерационально. Тургенев (в «Нови») объясняет происхождение редких или стран-

ных имен героев (Нежданов, Калломейцев, Сила, Снандулия и т. д.). Даже импрессионистический эпигон реализма Чехов выписывает в свою записную книжку редкие имена из календаря: «св. Пиония и Епимаха — 11 марта, Пуплия — 13 марта»*. Гоголь же в «Шинели» составляет свой собственный календарь, названные им там святые вовсе не встречаются в календаре вместе, а тем менее в те дни (23 марта), к которым он их относит. Если оставить в стороне биографию Чичикова, также отнюдь не преследующую только цели мотивировки, то все совершается у Гоголя или без мотивировки, или с псевдомотивировкой, но характерно, что самый прием, как видно из биографии Чичикова, ему известен. Но он без всякой мотивировки высыпает перед нами такие имена, как Маклатура, Фемистоклюс, Неужай-Корыто, Доезжай-Недоедешь, Коровий-Кирпич... Псевдомотивировка дана для играющей композиционно важную роль поездки Коробочки в губернский город, псевдомотивировки даны для объявления Чичикова Наполеоном, фальшивомонетчиком, даже беглым каторжником, или для слуха о том, что он «хочет увести губернаторскую дочку». Характерная для Гоголя псевдомотивировка «крыша суда осталась непокрашенной», так как «приготовленное для того масло канцелярские, приправив луком, съели».

Этот мир немотивированных невероятных, чудищ и уродов напоминает «Капризы» Гойи или гротескные фигуры в рассказах Эдгара А. По «King Pest». Но кто же будет считать Гойю или Эдгара А. По «реалистом»?!

Даже и среди героев Гоголя трудно найти «реалиста». Конечно, его лжецы не реалисты. Не реалисты и все мечтатели, которых он так охотно изображает: от художника Пискарева до помещика Манилова. Но не реалисты даже и практики и дельцы: не реалист Чичиков, не только замечтавшийся о губернаторской дочке, но и предающийся размышлениям о совершенно безразличных для него и не имеющих никакого практического значения минувших судьбах своих «мертвых душ»; не реалист даже и Собакевич, превративший «Елисавет Воробей» в мужчину, успешно «прикончивши» осетра, тыкающий в стороне вилкой в какую-то сушеную маленькую рыбку, «как будто это и не он», рассказывающий о том, как давно умерший каретник Михеев «на днях сделал такую бричку, что хоть в Москву посылай», выражающийся

* Здесь я лишен возможности говорить об именах в юмористических произведениях реалистов. Напоминая гоголевские, они имеют совершенно иную функцию.

о не нравящихся ему губернских чиновниках чисто гоголевским гиперболическим стилем («Гога и Магога», «зарезет на большой дороге»). Пожалуй, единственным последовательным реалистом среди героев Гоголя окажется попечитель благоугодных заведений, Артемий Филиппович Земляника, на гениальную метафору Хлестакова «совершенная свинья в ермолке» весьма «реалистически» возражающий: «Где ж свинья бывает в ермолке?» Кажется, именно Землянику, а никак не Гоголя, следовало бы считать провозвестником «социалистического реализма».

